
189
свиданий
иногда одно свидание меняет всю жизнь
микро-новеллы
о встречах, которые
останутся с нами
Юлия Царева
Наталья Брусенцова
первое свидание
неудачное
лучшее в жизни
случайное
последнее
и ещё 184
18+

Юлия Царева

189 свиданий

«Автор»
2026

Царева Ю.

189 свиданий / Ю. Царева — «Автор», 2026

189 свиданий — это не просто книга, это калейдоскоп человеческих судеб. Каждая история — как отдельное стёклышко, которое складывается в одну большую картину о любви. Она бывает разной: нежной и грустной, страстной и трагичной. Это и первое свидание, и прощание, и мимолётная встреча, которая меняет всё.Здесь нет глав и сюжетных линий. Просто 189 вспышек — мыслей, чувств и эмоций, которые объединяет одно: любовь. Она живёт в каждом из нас, даже если мы этого не замечаем. Эта книга о том, как увидеть свет даже в кромешной тьме, и о том, что настоящая любовь не имеет границ.Просто Любовь. Просто Жизнь.

© Царева Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Предисловие 6
1. 7
2. 8
3. 10
4. 11
5. 13
6. 14
7. 15
8. 16
9. 17
10. 18
11. 19
12. 20
13. 21
14. 22
15. 23
16. 24
17. 25
18. 26
19. 27
20. 28
21. 29
22. 30
23. 31
24. 32
25. 33
26. 34
27. 35
28. 36
29. 37
30. 38
31. 39
32. 40
33. 41
34. 42
35. 43
36. 44
37. 45
38. 46
39. 47
40. 48
41. 49
42. 50
43. 51
44. 52
45. 53

46. 54
Конец ознакомительного фрагмента. 55

189 свиданий

Предисловие

«Нашим миром движут те же
невидимые глазу силы, которые
заставляют биться и наши сердца».
Дэвид Митчелл, «Облачный атлас»

Представьте, что вместо книги вы держите в руках калейдоскоп. Он лёгкий, почти невесомый, и в нём перекатываются сотни маленьких стёкол. Вы поворачиваете его — и картинка меняется. Ещё одно движение — и перед вами уже другое. Нежные и тёплые сцены, от которых становится светло на душе, переходят в грустные, от которых хочется замереть и помолчать. То вам становится жарко от эмоций, которые переживают герои, то пробирает озноб, и сердце сковывает холод расставания. Вы не знаете, что увидите в следующее мгновение. И в этом — вся прелесть.

Свидания могут быть разными. Они говорят о разном, несут разное, заканчиваются поразному. Но есть кое-что, что их все объединяет. Как сотни разных стёклышек объединяет сам калейдоскоп, так и свидания объединяет любовь. Она вспыхивает и затухает, исчезает и воскресает снова, даже если уже к другому человеку. У неё много лиц, много образов. Она может быть к партнёру, к ребёнку, к родителям, к родственникам, к друзьям, к животным, и даже к неодушевлённым предметам, и, конечно же, к себе самому. Она принимает тысячи форм, и всё же остаётся собой.

Любовь — начало всего, что нас окружает, хоть это и не всегда заметно. Она может смешиваться со страстью, с вожделением, со стремлением обладать, с ненавистью и даже со злобой, но никогда не перестаёт быть тем, чем является по своей сути. Её можно не замечать. От неё можно отмахиваться. Её можно бояться. Но она всегда рядом, как воздух, как свет, как вода. Иногда она прячется в чужих словах, в случайных прикосновениях, в молчании. Иногда — в незнакомом взгляде, который вдруг согревает сильнее, чем все слова на свете.

Умение видеть свет даже в кромешной тьме спасало меня множество раз. Я называю это «внутренний компас». Только он показывает не на север, он показывает курс на любовь. Этот компас есть у каждого из нас. Просто не все решаются по нему идти. Страх, обиды, прошлый опыт — всё это сбивает стрелку. И тогда мы блуждаем в тумане, не понимая, куда двигаться. Но стоит прислушаться к себе — и стрелка снова оживает. Она начинает дрожать, поворачиваться, искать. И находит. Всегда находит. Даже когда кажется, что уже нечего искать.

Это можно назвать алхимией сердца. Человек, который однажды смог прикоснуться к чистой любви, без примеси эгоистических чувств, — никогда не будет одинок. Даже если рядом никого. Даже если ночь длинна. Даже если весь мир отвернулся. Потому что свет внутри нельзя погасить. Он горит. И этот свет виден другим — тем, кто ищет.

И сейчас я предлагаю Вам разделить это чувство вместе со мной.

В этой книге нет глав, нет названий, нет линии сюжета. Ее можно читать, открыв на любой странице. Просто спонтанные всполохи. Просто мысли и чувства. Просто Любовь. Просто Жизнь.

1.

Он пришёл на сорок минут раньше. Осенний вечер был влажным, и фонари у метро горели мягко, бросая теплый свет под ноги. Лёша стоял у выхода, спрятав руки в карманы, и повторял про себя её имя. Лера. Лера. Лера. Оно звучало, как обещание, которое он боялся не сдержать.

Он не хотел выглядеть тем, кто приходит слишком рано. Но оставаться дома было невозможно. Внутри всё звенело от предчувствия, как трамвайный провод на ветру. Он вглядывался в каждого, кто поднимался из перехода, и сердце то подпрыгивало, то падало.

Она появилась внезапно. Сначала — жёлтый шарф, почти светящийся в сером воздухе. Потом — она сама. Увидела его, улыбнулась, и он забыл всё, что готовился сказать. Они неловко поздоровались, постояли, не зная, куда деть руки, и пошли к кинотеатру.

Фильм выбрал он — ужасы, чтобы не выглядеть слишком сентиментальным. В тёмном зале, где пахло попкорном и старым бархатом, они сидели близко, почти соприкасаясь локтями. На экране что-то кричало, но он не обращал внимания. Он слышал только её дыхание и то, как скрипнуло кресло, когда она пошевелилась.

Он так и не решился взять её за руку. Ему всё казалось, что она отодвинется, и тогда волшебство разрушится. Поэтому он просто сидел, сжав пальцы на коленях, и ждал, когда фильм закончится.

После кино они вышли на улицу. Шли к метро — близко, но не касаясь. Лёша снова спрятал руки в карманы. Ему казалось, что нужно что-то говорить, и он лихорадочно вспоминал интересные истории, шутки, интересные факты. Получалось не очень.

А потом Лера взяла его под руку. Её пальцы легли на сгиб его локтя, и он почувствовал это тепло даже через куртку. Он не сразу понял, что произошло. А когда понял — замер. Потом выдохнул и прижал её ладонь к себе. Плечи его опустились. И они пошли дальше — уже вместе.

У метро они остановились.

— Напиши, как доедешь, — сказал он.

— Напишу.

Он смотрел, как её жёлтый шарф исчезает в глубине перехода. А потом пошёл домой, ощущая, как на локте всё ещё держится её рука.

Телефон зажужжал, когда он был уже в подъезде.

«Фильм так себе, но я бы посмотрела его ещё раз. С тобой».

Он перечитал это сообщение раз двадцать. И, стоя в темноте лестничной клетки, улыбался так глупо и так счастливо, как умеют улыбаться только в восемнадцать.

2.

Меня зовут Роман. Мне сорок три. Я никогда не был женат.

Не потому, что не звали. Звали. И не раз. Но я всегда считал, что брак — это компромисс, на который идут слабые. Я не слабый. У меня своя фирма, своя квартира на Патриарших, свой график, свои правила. Женщины в этом графике присутствовали — но на моих условиях.

Два-три свидания. Иногда дольше, если женщина была особенно хороша в постели и не заводила разговор про отношения. Как только начинала — я исчезал. Просто переставал отвечать на сообщения. Это удобно. Это честно — по крайней мере, я так считал.

Марина была из той же цепочки. Я увидел её фото в приложении — ничего особенного. Не красавица в классическом смысле — нос с горбинкой, брови вразлёт, что-то такое, что обычно называют «интересная внешность». Но меня зацепил её взгляд. Она смотрела в камеру не так, как другие женщины — заискивающе или соблазнительно. Она смотрела оценивающе. Как будто это она выбирала, а не её.

Мы встретились в баре. Она опоздала на пятнадцать минут, и я уже начал раздражаться. Не люблю ждать. Вошла — высокая, в пальто, без шапки, хотя на улице минус. Волосы растрёпаны. Ни макияжа, ни каблуков. Я хотел было отпустить какую-то дежурную колкость про пунктуальность, но она опередила:

— Прости. Я зачиталась.

— Что?

— Книгу читала. Не могла оторваться. Знаешь это чувство, когда пять страниц до конца, а ты уже опаздываешь, но всё равно читаешь?

Я не знал, но кивнул. Мы сели за столик. Я заказал вино. Она сказала: «Мне чай, пожалуйста. Зеленый. Без сахара». Я удивился — обычно мои женщины пили то же, что я. Или делали вид, что им нравится. А этой было всё равно. Она не подстраивалась.

Это было новое чувство. Непривычное.

Мы разговорились. Она была архитектором. Проектировала общественные здания — библиотеки, школы, что-то ещё. Я начал говорить про свою фирму — стандартную презентацию, которую я прокатывал на всех свиданиях. Обороты. Прибыль. Перспективы.

Она слушала. Молча. Потом сказала:

— А тебе самому-то интересно?

Я сбился.

— Что?

— То, что ты рассказываешь. Цифры, обороты, перспективы. Тебе это правда интересно? Или ты думаешь, что это интересно мне?

Я открыл рот. Закрыл. Ни одна женщина не задавала мне такого вопроса. Ни одна. Я вдруг почувствовал, как краснею. Я, взрослый мужик, который провёл сотни переговоров, покраснел, как мальчишка.

— Не знаю, — сказал я. — Привычка.

— Понятно, — сказала она. И улыбнулась. Сочувственно. Как будто поняла обо мне что-то важное.

Дальше вечер пошёл не по плану. Я забыл про свой сценарий. Мы говорили о книгах — вернее, она говорила, а я слушал. Она рассказывала про роман, который её перевернул. Про то, как архитектура и литература связаны — «здания — это застывшие истории», сказала она, и это звучало не как банальность, а как что-то, что она действительно чувствовала. Я смотрел на её руки. Она размахивала ими, когда говорила, — некрасиво, резко, сбивчиво. И вдруг я поймал себя на мысли, что мне нравится. Мне нравится, как она говорит. Как она думает. Как она не старается быть удобной.

В какой-то момент она замолчала и посмотрела на часы.

— Мне пора.

Я почувствовал укол. Острый. Неожиданный. Она просто собралась и ушла.

— Я напишу, — сказал я.

— Не надо, — сказала она. — Ты не умеешь писать. Ты умеешь только звонить по делу. Я вижу таких, как ты, за километр. Не обижайся.

Я остался сидеть с её недопитым чаем и чувством, что меня только что разобрали на детали и сложили обратно. Криво. С зазорами. И эти зазоры почему-то болели.

Я думал о ней всю ночь. О том, как она двигала руками. О том, как она задала мне этот вопрос: «А тебе самому-то интересно?» О том, что она поняла про меня то, чего я сам не понимал сорок три года. Что я живу на автопилоте. Что мои правила, мой график, мои женщины — это всё ширма. А за ширмой ничего нет.

Я не знаю, что такое любовь. Но я знаю, что впервые за долгое время я хочу увидеть человека не для того, чтобы уложить его в постель. А чтобы он посмотрел на меня ещё раз. Вот так — оценивающе. И, может быть, если повезёт, улыбнулся.

Я всё-таки написал: «Ты была права. Мне самому не интересно».

Она ответила через час: «Ты хотя бы начал это замечать. Это хороший знак».

3.

Мы договорились на семь. Я пришла в семь. Его не было. Первые десять минут я сидела за столиком и перебирала в голове причины, почему сижу сейчас одна. Оправдывала его. Пробки. Метро. Телефон сел. Господи, какая же я жалкая. На двадцатой минуте я заказала воду. Просто чтобы занять руки. На тридцатой — заказала себе ужин. Одной. И вот тут меня выключило. Не обида. Обида — это для тех, кому не всё равно. Внутри стало пусто. Как в черепе мертвеца. Облегчение. Чистое, химическое облегчение. Не пришёл. Слава богу. Не надо стараться. Не надо быть «интересной». Не надо смеяться над его тупыми шутками про работу.

Я сидела и ковыряла вилкой пасту. Ко мне подсел парень. — Скучаешь? — спросил он. Обычно я не очень приветлива с незнакомцами. Но сейчас мне было плевать. Я была пустая. Идеальный сосуд. — Меня кинули, — сказала я. — Прямо сейчас. Он не пришёл. — Дебил, — сказал парень. — Пошли отсюда.

Мы ушли. Он рассказывал про коллекцию пробок. Про работу аниматором. Про то, что умеет готовить только яичницу. Я смеялась. Злость ушла.

В десять я поехала домой. Он не спросил мой телефон. Просто сказал: «Тот парень — идиот». Я поцеловала его. Прямо в губы. В благодарность. За то, что он не врал.

Тот, кто не пришёл, написал на следующий день: «Прости, я забыл, замотался». Я прочитала сообщение. И не ответила.

4.

Жара стояла адская. Тридцать градусов, хотя май только начался. Мы лежали в шезлонгах на городском пляже. Песок, галдёж, пахнет шашлыком и кремом от загара.

Она повернула ко мне голову.

— Я не умею плавать. Только по-собачьи.

— Хочешь, научу?

— Не хочу. Я боюсь воды. Вернее, глубины. Мне кажется, там внизу что-то есть.

— Там рыбы, — сказал я. — Водоросли. Велосипедная шина, наверное. И еще много всего, что бросают туда люди.

— Ты не понимаешь. Я не боюсь рыб. Я боюсь… Не знаю... Бесконечности.

Я смотрел на неё. На капли пота над верхней губой. На то, как она прикусила губу. Она правда боялась. Я взял её за руку. Она сжала пальцы.

— Пойдём, — сказал я. — По колено. Дальше не пойдём.

Она согласилась. Мы зашли. Вода была тёплая, как ванна, которая долго стояла. Она смотрела вниз, на песок, уходящий из-под ног.

— Тут мелко, — сказала она. — Тут не страшно.

— Тут не страшно.

Мы постояли. Я сделал шаг назад. Вода дошла мне до пояса.

— Ты чего? — спросила она.

— Ничего. Иди сюда.

— Я не могу.

— Можешь. Просто иди.

Она сделала шаг. Потом ещё один. Вода поднялась до бёдер.

— Всё, — сказала она. — Дальше не пойду.

— Хорошо. Стой там.

Я отошёл ещё на пару метров. Вода была мне по грудь.

— Ты что делаешь? — голос у неё стал выше.

— Ничего. Просто попробуй до меня дойти. Тут везде мелко. Я проверял.

Она посмотрела вниз. Потом на меня. Потом снова вниз.

— Если я утону, — сказала она, — я тебя прокляну.

— Договорились.

Она сделала шаг. Вода дошла до пояса. Потом ещё один. Она шла медленно, вытянув руки, как будто ощупывала воздух. Я стоял и ждал.

— Тут глубоко, — сказала она.

— Тут мне по грудь. Тебе - чуть выше.

— Всё равно.

Она сделала ещё шаг. Потом ещё. И вдруг её лицо изменилось. Она посмотрела вниз, потом на меня.

— Я стою, — сказала она. — Я реально стою.

— Я же говорил.

Она засмеялась. Нервно, с выдохом. Потом сделала ещё шаг и оказалась рядом. Вода была ей по плечи. Она держалась за мою руку и тяжело дышала.

— Всё, — сказала она. — Я сделала. Я молодец. Пошли обратно.

— Подожди.

Я отпустил её руку. Отплыл на пару метров. Она запаниковала.

— Ты куда?

— Никуда. Просто плыви ко мне. Тут неглубоко. Ты можешь встать в любой момент.

— Я не умею.

— Как собака умеешь.

Она посмотрела на меня с ненавистью. Потом поплыла. Неуклюже, громко, поднимая тучи брызг. Проплыла метр. Встала. Отдышалась.

— Получилось, — сказала она.

— Получилось.

Она поплыла снова. Ещё метр. Потом ещё. Я отступал, и она плыла за мной. Потом я схватил её за руку и дёрнул к себе. Она заорала. Я засмеялся. Она засмеялась тоже.

И вдруг мы начали дурачиться. Я брызгал в неё водой. Она брызгала в ответ. Она пыталась меня утопить, я уворачивался. Она хохотала так, что на нас оборачивались с берега.

Потом она остановилась. Посмотрела вокруг. Мы были на глубине, где ей было по шею. Она стояла на цыпочках и держалась за мои плечи.

— Мы на глубине, — сказала она.

— Ага.

Она посмотрела на меня. У неё были мокрые волосы, прилипшие к лицу, и глаза, как у человека, который только что понял что-то важное.

— Вот видишь, — сказал я.

— Заткнись.

Она поцеловала меня. Прямо там, в воде, на глубине, стоя на цыпочках и держась за мои плечи.

5.

Он написал: «Встретимся у фонтана. Я буду в дурацкой шляпе». Я ответила: «Зачем в дурацкой?» Он: «Чтобы ты меня узнала. И чтобы сразу было понятно — я не отношусь к себе серьёзно».

Я пришла. Фонтан. Люди. Голуби. И правда — стоит человек в дурацкой шляпе. Соломенной. С лентой. Как будто сбежал с курорта 1920-х годов. Я подошла. Сказала: «Шляпа и правда дурацкая». Он сказал: «Спасибо. Я старался».

Мы пошли пить лимонад. Он рассказывал, что работает в банке, но тайно пишет сказки. Что у него кот по имени Морковь. Что он не любит сыр, но стесняется в этом признаться, потому что это непатриотично. Я слушала и думала: он сумасшедший. Но сумасшедший — в хорошем смысле. В том, в котором нормальные люди скучны, а такие — нет.

Вечером он проводил меня до метро. Снял шляпу. Сказал: «Если захочешь ещё лимонада — я здесь. В этой же шляпе. В любой день». Я сказала: «Может, без шляпы?» Он сказал: «Без шляпы нельзя. Это мой опознавательный знак».

Я уехала. Я сидела и улыбалась. Не знаю, позвоню ли я ему. Но этот лимонад, эта шляпа, этот кот Морковь — они останутся со мной надолго.

6.

Она была из Питера. Он — из Москвы. Они списались в комментариях под постом про архитектуру. Спор о конструктивизме перетёк в личку. Личка — в голосовые сообщения, которые они оставляли друг другу по ночам. Через месяц он сказал: «Я куплю билет. На "Сапсан". На утро субботы».

Она приехала на вокзал за полчаса до прибытия «Сапсана». Купила бумажный стаканчик с кофе, который обжигал пальцы. Села на холодный пластиковый стул в зале ожидания. Она ждала его и думала, что всё это — какая-то ошибка в матрице. Вдруг он не приедет? Вдруг она покажется ему не такой? А вдруг всё это — просто сбой в коде, и сейчас система перезагрузится?

Поезд прибыл с опозданием на две минуты. Толпа вынесла его на перрон. Он оказался ниже, чем она представляла по фотографиям. И старше. И в руке у него был не букет, а старый брезентовый рюкзак с выцветшим патчем «Байкал-2015». Она подошла. Сказала: «Привет». Он посмотрел на неё и сказал: «Ты выше, чем на фото». Она ответила: «А ты ниже». Они замолчали. Секунду. Две. А потом он улыбнулся, и эта улыбка сломала лёд. Она засмеялась в ответ. И в этот момент воздух между ними перестал быть стеклянным.

Два дня они гуляли по Питеру. Он фотографировал каждый мост, каждую арку, каждую лужу в асфальте. Она читала ему стихи Блока на набережной, перекрикивая шум ветра. Вечером второго дня они сидели на гранитном парапете, свесив ноги. Он сказал: «Я не хочу уезжать». Она сказала: «Я не хочу, чтобы ты уезжал». Но он уехал. Потому что в Москве была работа, которая платит за аренду. Потому что жизнь — это всегда компромисс.

Через месяц он написал: «Я тут подумал. А что, если насовсем?» Она ответила: «Насовсем — это очень долго. У меня тут кредит и фикус». Он написал: «Насовсем — это просто смена локации в базе данных».

Он снял комнату на Петроградке. Они начали ходить по тем же мостам, но теперь между ними не было расстояния. Они спорили о том, какой сорт кофе лучше, и это были лучшие споры в её жизни. Они молчали, сидя на кухне, и это молчание не было пустым. Оно было густым, как хороший джаз.

7.

Ты не поверишь, где мы встретились. В морге.

Ладно, теперь веришь. Я работаю в ритуальной службе. Привожу тела. Она патологоанатом. В тот первый раз она вышла в коридор в халате, маске и с планшетом, похожая на человека, который слишком долго смотрит на вещи, о которых остальные предпочитают не думать.

— Оформляйте, — сказала она. — И не курите в тамбуре, в секционный тянет.

— Я не курю.

— Тогда проходите.

Я проходил. Потом ещё раз. Потом ещё. Мы виделись почти каждую неделю. Я привозил «клиентов» — так мы их называли. Она оформляла. Мы говорили о жизни. О смерти. О том, что люди боятся моргов зря. Здесь тихо. Никто не орёт. Не требует. Не врёт.

Через три месяца я пригласил её в кафе. Она сказала:

— Только не в суши. Я после работы не могу есть рис. Ассоциации.

Мы пошли в бургерную. Ели бургеры и смеялись. У неё на подбородке была крошка. Я смотрел на неё — живую, тёплую — и думал: «Господи, какая же ты красивая. И как странно мы встретились».

Она сказала:

— Я знаю, что люди думают про мою работу. Что я циничная. Что привыкла к смерти. Я не привыкла. Я просто понимаю: если есть смерть, значит, есть и жизнь. И её надо жить. Сейчас.

Я взял её за руку.

— Согласен.

Мы встречаемся полгода. Иногда я всё ещё привожу «клиентов». Она всё ещё выходит в коридор с планшетом. Но теперь, когда никто не видит, она целует меня в щёку.

8.

— У вас красивые руки.

Она даже не обернулась. Смотрела на экран терминала, который глючил и не принимал карту. Красивые руки. На заправке. В десять вечера. После десятичасового рабочего дня. Ну конечно.

— Спасибо, — сказала она сухо. Не глядя на него. Села в машину. Уехала.

А потом, уже дома, стоя под душем, вдруг посмотрела на свои руки. Длинные пальцы. Сбитые костяшки — с шести лет за роялем. Мама говорила: «У тебя руки пианистки, береги их». Она берегла. И когда кто-то замечал — пусть даже незнакомец на заправке, — внутри всё равно что-то теплело. Глупо. Но теплело.

Через неделю она снова заехала на ту же заправку. Он стоял с канистрой. Увидел её. Замахал рукой.

— Я не маньяк! Просто живу рядом!

Она засмеялась. Он тоже. И смех у него был такой — открытый... Она вдруг подумала: когда она в последний раз смеялась вот так? Тем более с абсолютно незнакомым человеком.

Он пригласил её на кофе. Кофе оказался растворимым. Стаканчики — пластиковыми. Столик — лавочкой у бензоколонки. Мимо шли фуры. Он говорил о своей работе, она о своей. Оба после развода. Оба не верили в слова.

И вдруг она поймала себя на том, что ей хорошо. Просто — хорошо. Как будто она сняла туфли после долгого дня. Как будто можно не держать спину. Не быть пианисткой. Не быть разведённой. Просто быть.

9.

Я не любила походы, и, вероятно, не полюблю их никогда, но в тот раз согласилась, потому что он был красив той особенной красотой, которая не столько радует глаз, сколько лишает воли, и ради которой, как мне тогда казалось, можно вытерпеть и комаров, и сырость, и его гитару, звучавшую в лесу с той навязчивой фальшью, какая бывает у людей, уверенных, что они играют хорошо. Весь день я терпела — не столько комаров, сколько себя в этой роли, потому что городской человек, привыкший к душу и кофе, в лесу чувствует себя не на отдыхе, а в ссылке, и я злилась на себя за эту слабость и за то, что не умею отказывать красивым мужчинам. А вечером он сказал: «Пойдём, покажу», — и мы отошли от костра, где ещё кто-то пел и смеялся, и я шла за ним, не зная зачем, и, вероятно, именно это состояние и было самым честным, что я чувствовала за весь день.

Луна висела над соснами — огромная, почти неприличная в своей близости, и он спросил: «Ради этого стоило?» — а я ответила: «Стоило», и это была ложь, потому что стоило не ради луны, не ради леса, не ради этого неба, а ради того, как он смотрел на меня в тот момент, и от этого взгляда вдруг стало неважно, что комары, что палатка, что отсутствие душа, — важно было только то, что он смотрит, и я чувствую себя значимой, как будто ради этого взгляда и стоило тащиться в лес, и в этом чувстве было что-то постыдное, потому что я знала, что не должна зависеть от чужого взгляда, но ничего не могла с собой поделать.

Ночью стало холодно, и мы лежали рядом в разных спальниках, и я слышала его дыхание, и он вдруг сказал в темноту — не мне, а куда-то в пространство между нами: «Я в детстве боялся темноты. До ужаса. До крика. Когда свет гаснет, я перестаю чувствовать границы. Где заканчиваюсь я и начинается всё остальное. Как будто я растворяюсь. Исчезаю. И это страшнее всего. Не тьма снаружи. А пустота внутри». Я слушала, и его слова падали в меня, как камни в воду, и я не знала, что сказать, потому что все слова казались слишком маленькими для того, что он только что произнёс, и тогда я просто взяла его за руку — протянула свою через разделявшее нас пространство и нащупала его пальцы. Он сжал их сильно, до боли, и я вдруг поняла, что вот так он чувствует границы, через меня, через мою руку, что я — его контур, его форма, его доказательство, что он есть, и эта мысль была настолько простой и настолько огромной, что я не спала почти до утра.

Утром всё кончилось. Мы расстались через месяц — просто не совпали. Но когда я не могу уснуть и чувствую, что растворяюсь в темноте, я вспоминаю его пальцы — сжатые, отчаянные, держащиеся за меня, как за последнюю опору, — и возвращаюсь в тело, в границы, в себя.

10.

Он написал: «Ты не против, если я буду с собакой?» Я ответила, что не против, и это было правдой, насколько правдой может быть ответ на вопрос, заданный в переписке. Но когда я пришла в парк и увидела эту собаку — крупного лабрадора с добродушной мордой и хвостом, работавшим как метроном, — я испугалась. Не собаки, разумеется. Собаки были ни при чём. Я испугалась того, что она означала. Собака — это ответственность. Это «я взрослый человек, который заботится о живом существе». Это «я не боюсь привязанностей». И на секунду мне стало душно, как будто он пришёл не с лабрадором, а с обручальным кольцом на поводке.

Пёс подбежал ко мне первым. Обнюхал мои туфли с видом эксперта, лизнул руку и уселся рядом, словно мы были знакомы лет десять. Я стояла и не знала, куда девать ладони. Он смотрел на меня и ждал. Не пёс — хозяин. Ждал, когда я перестану бояться.

— Она добрая, — сказал он. — И я тоже.

И тут до меня дошло. Он боится так же, как я. Просто его страх спрятан за собакой. Он привёл её не для того, чтобы впечатлить. А для того, чтобы было за кого держаться.

Я наклонилась и погладила пса. Мокрый нос, тёплые уши. И пока я гладила, страх уходил. Не мой — его. Я видела, как он выдыхает. Как плечи опускаются.

Мы гуляли час. Говорили о корме, о прививках, о том, что лабрадоры едят всё подряд, включая, по всей видимости, хозяйские перчатки. Под этими словами было другое. Мы оба знали. Мы оба проверяли друг друга. И собака стала мостом между нами — весьма основательным, надо заметить, мостом, по которому можно было ходить в обе стороны.

Вечером он написал: «Спасибо. Ты ей понравилась».

Я ответила: «Я знаю. Ты мне тоже».

11.

Гитара была чужая. Он это знал, и она это знала. Наклейка «Спартак» на боку, струны ржавые, гриф потёртый. Она спросила:

— Ты играешь?

— Нет, — сказал он. — Но я попробую.

Он сел на подоконник. Она — на стул. Комната маленькая, метр между ними, может, меньше.

Пальцы дрожали. Он ударил по струнам. Первый аккорд — мимо. Второй — мимо. Третий — почти. Он не останавливался, не извинялся, не смеялся. Шёл вперёд.

Он допел. Тихо, хрипло, мимо нот. Последний звук умер. Стало тихо. За стеной тикали часы.

Он поднял глаза. В них был вопрос, который он не стал произносить.

Она взяла его руку — ту, что держала аккорд, — и прижала к щеке. Они сидели так минуту, может, две.

12.

Свидание было ужасным. Он говорил о машинах, о деньгах, о бывшей, которая его не оценила. Я смотрела в тарелку и думала: зачем я здесь. Ответ я знала: потому что подруга сказала «сходи, он нормальный», потому что я не умею говорить «нет», потому что боюсь остаться одна.

И вот я сижу, слушаю про карбюратор, и чувствую, как внутри копится пустота. Ещё немного — и я исчезну. Стану прозрачной. Он даже не заметит.

А потом я поймала себя на том, что не слушаю. Совсем. Я смотрю в тарелку, но на самом деле меня здесь нет. Я репетирую. Я придумываю, что скажу, когда он сделает паузу. Подбираю историю — про работу, про подругу, про то, как вчера не могла уснуть. Что-то остроумное. Что-то, что заставит его подумать: вот интересная женщина.

Я не слушала его. Я ждала своей очереди. И от этой мысли мне стало так стыдно, что я чуть не встала и не ушла.

Я подняла глаза. Он все еще говорил про этот злополучный карбюратор. У него было усталое лицо. Как у человека, который тоже где-то репетирует и тоже боится, что его не заметят.

— Ты счастлив? — спросила я.

Он замолчал на полуслове. Посмотрел на меня. Долго.

— Что?

— Ты счастлив? — повторила я. — Ты столько рассказываешь про машины. А про себя — ничего.

Он молчал. Я видела, как он думает. Как он впервые за вечер смотрит не сквозь меня, а на меня.

— Нет, — сказал он наконец. — Не счастлив.

И тогда он рассказал про жену, которая ушла три года назад. Про то, как до сих пор не может спать в их спальне и спит на диване. Про то, как покупает машины, чтобы было что чинить. Про то, что дома его никто не ждёт, и он придумывает, что сказать, когда придёт, чтобы не так было тихо.

Я слушала внимательно. И это было странное чувство — просто слушать, не ожидая своей очереди.

А потом он спросил:

— А ты? Ты счастлива?

И я сказала правду. Тоже впервые за вечер. Может, впервые за год.

Мы просидели до закрытия. Говорили о разном. О том, что болит. И когда я вышла на улицу, было холодно, и я дрожала. Но это было другое.

Он написал через час: «Спасибо. Я давно ни с кем так не разговаривал».

Я ответила: «Я тоже».

13.

Мы встретились в библиотеке, в зале, и она сказала, что хочет проверить мой интеллект. Я принял это за шутку, но она уже шла между стеллажами, и каблуки её сапожек стучали по паркету с той отчётливостью, которая бывает только в пустых помещениях. Она достала с полки книгу — Кант, «Критика чистого разума», — и протянула мне.

— Прочитай первый абзац. Если поймёшь — будем встречаться.

Я открыл. Буквы расплывались, как мошки в янтаре. Я прочитал первую фразу, потом вторую, потом третью, и ничего не осталось в голове, кроме смутного ощущения, что меня обманули. Я закрыл книгу.

— Ничего не понял.

Она улыбнулась. И в этой улыбке было столько тёплого, что я почувствовал, как моя собственная неловкость растворяется, как сахар в горячей воде. Она сказала, что тоже ничего не поняла. Что проверяла, смогу ли я признаться. Я смог.

Мы вышли на улицу, и снег падал крупными хлопьями, медленно, как в замедленной съёмке. Она подставила ладонь, поймала снежинку, и та мгновенно превратилась в каплю. Она засмеялась — коротко, горлом. Я взял её за руку. Пальцы у неё были холодные, и я подумал, что их нужно согреть. Мы пошли через сквер, и я чувствовал, как снег ложится мне на ресницы, на воротник, на тыльную сторону ладони, которой я держал её руку. Внутри было тихо. Так тихо, как бывает только в детстве, когда ты сидишь под одеялом и слушаешь, как в соседней комнате родители говорят о чём-то важном, но ты не разбираешь слов.

14.

Она плакала. Беззвучно, одними слезами, и не вытирала их — то ли не замечала, то ли нарочно давала им течь. Он увидел, полез в карман и протянул платок.

— У меня свой.

— Пусть будет запасной.

Она взяла. И пока брала, успела разглядеть: платок был выглажен в ровный квадрат, с острыми, как у конверта, углами. Кто-то его гладил. Кто-то складывал. Не в спешке, не как попало, а с той обстоятельностью, с какой человек вообще-то готовит вещи только для себя одного.

Она развернула его. Мягкий, застиранный, в мелкую клетку. Пахло от него не кондиционером, а утюгом и чем-то домашним, вроде сушёной мяты. И в этом запахе, в этих острых углах, в самой этой привычке — гладить платки и носить их в кармане на случай чужой беды, — было больше утешения, чем во всех словах, какие ей довелось услышать за год.

Она подняла глаза. Он не смотрел на неё с сочувствием, не отводил взгляда и не топтался в неловкости. Просто стоял рядом, руки в карманах, и ждал, пока она выплачется. И она вдруг почувствовала то, чего давно не чувствовала: что плакать при ком-то — можно. Что этот кто-то не испугается, не убежит и не скажет глупости. Просто достанет платок. И будет стоять.

15.

Они сидели в кафе, когда она вдруг замолчала на полуслове и уставилась в окно.

— Ты чего?

— Там голубь. Смотрит на меня.

Он обернулся. Голубь сидел на подоконнике и действительно смотрел. Обычный. Серый. С красными лапками. Он перевёл взгляд на неё — она сидела, подавшись вперёд, с таким лицом, будто этот голубь был самым важным событием дня. И он вдруг понял: в этом вся она. Она замечает голубей. Она радуется им. Она не стесняется сказать об этом вслух.

Они вышли из кафе. Голубь улетел. Она помахала ему вслед.

— Знаешь, — сказала она, — я в детстве верила, что голуби приносят письма. Не знаю, от кого. Просто письма. И каждый раз, когда видела голубя, думала: а вдруг это мне?

— И что, принесли?

— Нет. Но я до сих пор проверяю.

Он остановился. Посмотрел на неё. Она стояла посреди улицы, задрав голову к небу, и высматривала голубей. И в этот момент он понял, что хочет быть тем письмом. Тем, которое она ждала в детстве. Тем, которое придёт наконец и скажет: ты не зря верила. Ты не зря ждала. Я здесь.

16.

Шторм пришёл ночью, без предупреждения. Днём ещё было солнце, тёплый песок и вода, в которой ноги утопали, как в парном молоке. А к вечеру небо налилось чернотой, и море стало глухим, тяжёлым, чужим.

Ветер ударил так, что лопнула растяжка, и палатка просела набок. Он выскочил наружу, крикнув ей остаться. Она слышала, как он возится с колышками, как ругается сквозь ветер, как дождь хлещет по брезенту. И вдруг поймала себя на мысли, от которой стало не по себе: она думала не о палатке. И не о вещах, которые намокнут. Она думала о нём. О том, что он там, снаружи, один, под этим ветром. Что его может ударить веткой. Что он промокнет до нитки и простудится. Что с ним что-то случится, а она сидит здесь, в тепле, и ничего не делает.

Он вернулся мокрый насквозь, дрожащий, с волосами, облепившими лоб. Она стянула с себя свитер и накинула ему на плечи. Он попробовал возразить, но она мотнула головой и обняла его. Просто обняла. Прижалась всем телом, чтобы отдать своё тепло — единственное, что у неё было.

Они просидели так до утра. Ветер выл, дождь не стихал, море билось о берег где-то совсем рядом, глухо и страшно. А внутри палатки было тихо. Потому что они держались друг за друга.

17.

Я пришёл первым. Сел у окна. Заказал чай. На столе стояла гвоздика в вазе — одна, забытая, как перчатка в чужом кармане. Я смотрел на неё дольше, чем следовало. Потом одёрнул себя. Такие мысли до добра не доводят.

Она опоздала на восемнадцать минут. Я считал. Всегда считаю. Это спасает от мыслей о том, что человек не придёт. Восемнадцать минут — не много, если разобраться. Но у окна, с видом на дверь, они тянутся, как резина.

Она вошла. Я забыл про минуты, потому что она улыбалась. Не мне — ещё не видела. Двери улыбалась, официанту, миру. И я подумал: вот такая она должна быть всегда. Потому что выбрала так, а не потому что жизнь лёгкая.

Она села, извинилась. Я сказал: «Ничего». И это «ничего» стало правдой. Потому что она пришла. Сидит напротив. Пальцы перебирают край салфетки — и в этом движении больше смысла, чем в моих восемнадцати минутах.

Мы пили чай. Она рассказывала про офис, про начальника, который был законченным идиотом. Рассказывала так, что я смеялся. Скуку она умела превращать в анекдот. И я подумал: вот, наверное, и вся любовь. Сидеть в кафе, слушать про офис и смеяться.

Потом мы пошли. Она взяла меня под руку. Пальцы легли на локоть, как будто ходили так всю жизнь. Я чувствовал тепло через рукав и думал: запомни. Вечер. Чай. Салфетку. Руку на локте. Потому что это — оно.

18.

Она сказала: давай встретимся в тире. Я удивился — тир, на первом свидании, — но поехал, потому что показалось важным сделать так, как она хочет.

Она взяла пистолет уверенно, как берут ложку. Я стоял рядом и чувствовал себя лишним. Она заметила — по тому, как я держал руки, по тому, как смотрел, — и протянула мне пистолет.

— Держи. Я научу.

Я взял. Холодный. Тяжёлый. Она встала сзади и положила свои ладони поверх моих. И вдруг всё исчезло — тир, люди, звуки выстрелов. Остались только её пальцы. Тёплые. Спокойные. Они направляли мои руки, и я чувствовал каждое прикосновение.

Я выстрелил. Мимо. Она засмеялась.

— Ничего. Первый раз всегда мимо. Давай ещё.

И мы стреляли ещё. И ещё. И с каждым выстрелом я чувствовал, как внутри что-то отпускает, как будто я всю жизнь целился — в людей, в отношения, в себя — и всё время промахивался. А сейчас, под её руками, впервые попал.

19.

— Вы пахнете дождём, — сказал он.

Я обернулась. Он стоял в дверях книжной лавки, и на губах у него была та самая улыбка, которую я терпеть не могу и которой всё равно верю: улыбка человека, который только что нашёл вас в толпе и уже считает вас своей находкой. Я не знала его. Но он говорил так, будто мы знакомы целую вечность, — а в наше время вечности случаются реже, чем хорошие книги.

— Я просто не взяла зонт, — ответила я, хотя это было не объяснение, а защита.

— Нет, — возразил он. — Дождь — это не то, что на вас. Это то, что внутри вас. Мокрая листва. И немного дыма. Как будто вы сидели у костра и слушали чужую исповедь.

Я не нашлась что сказать. Обычно мне говорили о глазах, о платье, о духах — словом, о том, что можно купить или унаследовать. Он говорил о погоде, которая была у меня внутри. И это было куда интимнее, чем любой комплимент.

Мы разговорились. Он искал Ахматову, а нашёл только кулинарную книгу. Я сказала, что это символично: поэзия всегда ускользает, а рецепты остаются. Он засмеялся — негромко, одобрительно, как смеются над хорошей шуткой, которую не выносят на публику.

Потом он замолчал. Посмотрел на меня — не на лицо, а куда-то глубже, туда, где у людей часто бывает пусто.

— Я хочу ещё раз, — сказал он. — Понюхать. Это странно, да?

— Это честно, — ответила я. — А честность всегда странна.

Он наклонился к моему плечу. Закрыл глаза. Вдохнул. И в этот миг я почувствовала себя не женщиной, не собеседницей, не даже музой — а редкостным изданием, которое искали годами и наконец нашли на дальней полке. Он открыл глаза и улыбнулся:

— Вот. Теперь я вас запомнил.

Мы расстались через час. Но свитер я до сих пор не стираю. Не из сентиментальности — из уважения к искусству. Ведь некоторые мгновения становятся шедеврами только потому, что их вовремя не тронули.

20.

Он был хирургом, она — его пациенткой. Ничего романтичного: банальный аппендицит. Он вырезал его ювелирно, шрам остался крошечный, почти незаметный. Через месяц она пришла на осмотр. Он спросил, как самочувствие. Она сказала:

— Хорошо. Только шрам немного тянет, когда я смеюсь.

— Значит, надо меньше смеяться.

— Нет. Значит, надо чаще.

И в этот момент что-то произошло. Странное ощущение, что этот разговор уже был. Где-то. Когда-то. Может, в прошлой жизни. Может, во сне. Он смотрел на неё и чувствовал, что она не просто пациентка. Что она говорит с ним не как с врачом. А как с человеком. И он отвечает — тоже как человек. Не по протоколу.

Она стала приходить каждую неделю. То на осмотр. То просто так — с пирогом для всего отделения. Медсёстры шептались. Он отмахивался. Но когда она не пришла однажды, он поймал себя на том, что считает дни. И испугался того, что она может не прийти больше.

Она пришла. С тем же пирогом. С той же улыбкой. Он встретил её в коридоре и сказал:

— Я скучал.

— Я знаю. Пирог с вишней, твой любимый.

И он понял: она знает о нём всё. Как он молчит. Как хмурится. Как поправляет очки. Она читала его, как книгу.

21.

Мы встретились в аэропорту. Её рейс задержали. Мой тоже. Мы сидели в очереди к стойке информации и молчали. Потом она сказала:

— Кофе?

— Чай.

Мы оказались в буфете. Пластиковые стулья, бумажные стаканчики, объявления о посадке. Она грызла сушку. Я смотрел на табло.

— Откуда и куда? — спросил я.

— В Новосибирск. К маме. А вы?

— В Красноярск. По работе.

Можно было замолчать. Разойтись. Но что-то не давало. Не флирт. Не одиночество. А то, как я помешивал чай — медленно, без нужды. И то, как она крошила сушку, хотя не ела. Мы не знали, зачем продолжаем сидеть. Но продолжали.

Она рассказала про маму. Та болеет. Летит впервые за два года. Страшно — не из-за мамы, а из-за того, что сама стала чужой в родном городе. Я слушал. Не перебивал. Потом сказал:

— Я тоже не был дома три года. Боюсь, что меня там забыли.

Она посмотрела на меня. Усталый. Седой. С тяжёлыми руками. И почувствовала: вот оно. Совпадение. Два человека, которые летят в разные стороны, но сейчас — здесь. В этом буфете. В этой паузе между рейсами. Нам не нужно друг другу нравиться. Не нужно обмениваться телефонами. Можно просто быть. Настоящими. Без последствий.

Объявили её посадку. Она встала. Я встал. Протянул руку.

— Удачи. И маме вашей — здоровья.

— Спасибо. И вам. Там. Дома.

Она ушла. Я остался стоять. И вдруг понял, что забыл спросить имя. Не спросил телефон. Не узнал ничего.

22.

Ей было шестнадцать. Ему — семнадцать. Они учились в одной школе, но познакомились только весной, когда их классы объединили для подготовки к выпускному. Она сидела в третьем ряду, он — в пятом. Она оборачивалась, чтобы передать листок с вопросами. Он брал листок и задерживал её взгляд. На секунду. На две. На три.

Она не помнила, когда именно всё началось. Может, в тот день, когда он подошёл после уроков и спросил, не хочет ли она помочь с декорациями. Может, когда они вместе несли рулон ватмана, и их пальцы соприкоснулись. Может, когда он сказал: «У тебя краска на носу», — и она смеялась, а он не смеялся, просто смотрел. И в этом взгляде было что-то, от чего у неё перехватывало дыхание. Не страх. Не смущение. А предчувствие. Как будто она стояла на пороге чего-то огромного и ещё не знала, хватит ли сил шагнуть.

Они начали гулять после школы. Он провожал её до дома. Она жила на другом конце города, но он говорил: «Мне всё равно по пути». Это была неправда. Она знала. И от этого было тепло.

Они ходили в парк. Кормили уток. Утки были жирные и наглые, одна утащила у неё из рук целый кусок булки. Она ахнула. Он засмеялся. И вдруг она поняла, что готова слушать этот смех вечно. Не потому что он был красивым. А потому что он был его. Настоящим. Не наигранным.

Однажды, когда они сидели на лавочке и смотрели на пруд, он вдруг замолчал. Она обернулась. Он смотрел на неё. Долго. Серьёзно.

— Что? — спросила она.

— Ничего. Просто... ты красивая.

Она хотела отшутиться. Сказать что-то про уток, про краску на носу, про что угодно. Но слова застряли. Потому что он сказал это не для галочки. Не чтобы подкатить. А просто. Как констатируют факт. Как будто он только что это понял и не мог не сказать.

И она заплакала. Не от счастья. Не от горя. А от того, что в этот момент всё совпало. Весна. Закат. Утки. Его голос. И она сама — та, кого назвали красивой. Не мама. Не подружка. Он. И это было первое «красивая» в её жизни, в которое она поверила.

Они не целовались в тот вечер. Он просто взял её за руку. И они сидели так, пока не стемнело. Где-то в кустах шуршали утки. Где-то далеко лаяла собака. А здесь, на лавочке, происходило то, что не описать словами. То, что бывает только раз. И то не у всех.

23.

В зоопарк они отправились в воскресенье, когда нормальные люди едят дома котлеты, а ненормальные идут смотреть на зверей. Она хотела к жирафу, он — к волкам. Волки, впрочем, оказались заняты: один спал, другой смотрел на посетителей с выражением человека, который всё про всех знает, но молчит из вежливости. Жираф тоже куда-то ушёл. Так они очутились у вольера с сурикатами.

Сурикаты стояли столбиками и вертели головами, как будто решали, не пора ли им эмигрировать. Она прижалась лицом к стеклу и засмеялась. Стекло запотело. Он смотрел на неё.

Потом он купил ей сладкую вату. Розовую, размером с небольшое облако. Она ела и рассказывала, что в детстве хотела стать смотрителем зоопарка. Любимой книгой у неё была «Не кричи: „Волки!“». Она до сих пор верила, что животные всё понимают, просто не подают виду.

Он слушал и запоминал. Как она облизывает пальцы. Как морщит нос. Как произносит «жираф» — с таким длинным «а», что слово становится похожим на самого жирафа. Он подумал, что любовь, вероятно, состоит именно из этого. Из знания, как человек говорит «жираф» и ест сладкую вату.

У пруда с фламинго она остановилась. Птицы стояли на одной ноге и спали.

— Смотри, они как будто танцуют, — сказала она.

Фламинго не танцевали. Но она видела танец. И он позавидовал.

— Хочешь, я куплю тебе фламинго? — спросил он.

— У тебя не хватит денег.

— Тогда украдём.

Она засмеялась. Никого они, конечно, не украли. Но шутка осталась. Как пароль.

24.

Лёд был серый, исцарапанный, с вмёрзшими листьями. Я стояла у бортика и думала: зачем я согласилась. У меня колени дрожали. От страха. Что я сейчас выйду и рухну. Что все увидят. Что он увидит.

Он уже ктился по кругу — легко, как будто всю жизнь только этим и занимался. Подъехал ко мне, затормозил, обдал ледяной крошкой.

— Ну что, поехали?

Я покачала головой. Он не стал уговаривать. Просто протянул руку. Ладонь была тёплая, шершавая, с мозолью у большого пальца. Я вцепилась в неё, как в единственное, что держит.

Первый шаг — конёк ушёл в сторону. Я ахнула. Он подхватил.

— Держись за меня.

— Я и так держусь.

— Тогда держись крепче.

Я вцепилась в его рукав. Мы поехали. Вернее, поехал он, а я просто перебирала ногами и смотрела вниз. Лёд проплывал подо мной — неровный, в чьих-то следах. Я думала: вот чужие следы, чужие падения, чужие покатушки. А теперь мои. И от этой мысли — что я тоже оставлю здесь след — стало чуть легче. Не навсегда же я буду висеть на нём.

На втором круге я подняла глаза. Вокруг кружились люди. Девушка в красном шарфе красиво отталкивалась одной ногой. Парень в шапке с помпоном пытался сделать пируэт и упал. Музыка гремела что-то новогоднее, хотя до Нового года был ещё почти месяц.

— Нормально, — сказал он. — Ты уже почти сама.

— Я вообще не сама. Я на тебе вишу.

— Ну и что. Первый раз всегда так.

Он сказал это просто. Как факт. И от этого стало спокойно. Как будто падать — это нормально. Как будто висеть на ком-то — это не стыдно.

На третьем круге я решилась. Разжала пальцы. Отпустила его рукав. Он заметил, замедлился, но не подхватил. Просто был рядом. Я качнулась. Замахала руками. Сердце бухнуло в горле. Но я устояла. И поехала. Медленно, коряво, но сама.

— Получается! — крикнула я.

Он засмеялся. И я засмеялась. И вдруг поняла, что больше не смотрю под ноги. Смотрю вперёд. На лёд. На огни. На него.

25.

Дождь начался внезапно. Просто стена воды, обрушившаяся с неба за секунду. Я стояла под козырьком книжного, прижимая к груди пакет с новым томиком, и смотрела, как улица превращается в реку. Люди бежали, прикрываясь сумками и газетами. Машины тормозили, поднимая веера брызг. А я стояла и улыбалась. И внутри было тихо. Так тихо, как бывает только перед чем-то важным.

Он появился из пелены дождя. Без зонта, в лёгкой куртке, которая сразу стала тёмной от воды. Волосы облепили лоб. Он не бежал. Шёл спокойно, как будто дождь — это не помеха, а часть плана.

— Ты без зонта, — сказала я.

— Я его забыл. Точнее, не взял специально.

— Зачем?

— Чтобы был повод стоять под твоим.

Я засмеялась. Он тоже. Я раскрыла зонт — маленький, складной, который всегда таскала в сумке на всякий случай. Вдвоём под ним было тесно. Его плечо касалось моего. Я чувствовала тепло сквозь мокрую ткань его куртки. Мы пошли.

Дождь барабанил по куполу. Мы шли медленно, потому что спешить было некуда. Улицы опустели. Город стал тихим и каким-то интимным, как будто мы были единственными людьми на свете. Я смотрела на лужи. Они отражали небо — серое, но не мрачное, а мягкое, как старая акварель.

— Давай пройдём через парк, — сказал он.

— Там сейчас грязно.

— Знаю. Поэтому и предлагаю.

Мы свернули. В парке не было никого. Мокрые деревья, мокрая трава, мокрые скамейки. Дорожки превратились в ручьи. Я шла и чувствовала, как вода просачивается в кеды. Холодно. Но не неприятно. Скорее — освежающе.

Впереди была огромная лужа. Перегородила всю дорожку. Я остановилась.

— Придётся обходить, — сказала я.

— Или пройти насквозь.

Он посмотрел на меня. Я — на него. В его глазах был вызов. Детский. Как будто он предлагал сделать что-то запретное и от этого ещё более заманчивое.

— Я всегда хотела так сделать, — сказала я. — Но мама не разрешала.

— А сейчас кто не разрешает?

Я задумалась. Потом шагнула в лужу. Вода была выше щиколотки. Холодная. Обжигающая. Я ахнула. Он засмеялся и шагнул следом. Мы стояли посреди лужи, как два дурака, и смеялись. Дождь лил сверху. Лужа была снизу. А между ними — мы.

— Замёрзла? — спросил он.

— Нет.

— Врёшь.

— Вру.

Он взял мою руку. Его пальцы были тёплые, несмотря на дождь. И мы пошли дальше — мокрые, счастливые, держась за руки. Я думала о том, что этот момент запомню навсегда. И я поняла, что всю жизнь сама себе что-то запрещаю. А он — нет. Он разрешает. И от этого хочется жить.

26.

Рынок пахнул копчёной рыбой, пряностями и чуть-чуть — подгнившими апельсинами. Я шла за ним между рядами и думала: вот странно, мы не в ресторане, не в кино, не на катке. Мы на рынке. В субботу утром. Вокруг женщины с тележками, мужики в фартуках, крики «попробуйте, не пожалеете». И среди всего этого — он. И я.

Он не рисовался. Не старался впечатлить. Он просто жил. Вот так — брал в руки головку сыра, нюхал, щупал, хмурился. Возвращал. Тянулся за другой. Иногда оборачивался ко мне и говорил: «Нет, этот слишком сухой». Или: «Вот этот — молодой, ещё не настоялся». И отрезал кусочек, протягивал на кончике ножа. Я брала. Жевала. Сыр был простой, домашний, солоноватый, и таял во рту, а он смотрел на меня и ждал. Как будто ему правда важно, вкусно мне или нет.

А вокруг рынок жил своей жизнью. Продавщицы в цветастых фартуках нахваливали свой товар так, что уши закладывало; грузчик с багровым лицом тащил ящик с зеленью и ругался на весь ряд; где-то за прилавками грохотала тележка, и её грохот мешался с криком «рыба свежая!» и звоном весов. Он остановился у прилавка с мёдом. Банки стояли на солнце, и мёд в них светился изнутри, как янтарь. Мужик за прилавком, толстый, в засаленной кепке, зачерпнул ложкой и протянул ему попробовать. Он попробовал, кивнул и сказал: «Вот этот беру». А потом обернулся ко мне.

— Тебе какой? С цветами или с гречихи?

— Бери на свой вкус, — сказала я.

Он взял с гречихи. Расплатился. Протянул мне банку. Банка была холодной и тяжёлой, и мёд в ней пах так, что у меня закружилась голова. Или это был не мёд. Я уже не разбирала.

27.

Он пригласил меня к себе и сказал, что приготовит ужин. Я согласилась, хотя, если честно, внутри у меня всё сжалось. Я сто лет не была ни у кого дома — и не потому, что не звали, а потому, что моя квартира давно стала крепостью, а чужие — территориями, где надо держать ухо востро. Там чужие чашки, чужие полотенца, чужие правила. И вот я стою на пороге и не знаю, снимать обувь или ждать приглашения. В такие минуты всегда кажется, что от этого зависит что-то очень важное.

— Проходи. Тапки вот.

Он протянул мне старые шлёпанцы с оторванным ремешком. И я засмеялась — не над тапками, а над тем, как он их дал. Без извинений. Без этого «прости, у меня не убрано». Просто дал, как есть. И сразу стало легко, будто он говорил: у меня старые тапки, герань на подоконнике и часы с кукушкой — вот такой я, принимай или уходи. И я приняла. Потому что, если разобраться, все мы немного старые тапки с оторванным ремешком, и только некоторые из нас это скрывают.

Кухня была пять метров. На стене часы, на подоконнике герань, на столе мука. Он лепил пельмени. Сам. Руками. Я смотрела, как его пальцы защипывают края теста — быстро, ловко, привычно, как будто он делал это всю жизнь. И не могла оторваться. Он не готовил устриц и не открывал вино. Он лепил пельмени. Так, как делал это сто раз до меня, и будет делать после. И от этого внутри потеплело. Потому что пельмени — это не ужин. Пельмени — это признание. Человек, который лепит пельмени, уже не притворяется.

Я вызвалась помогать. Он дал мне скалку. Я катала тесто — криво, неровно, рваными краями, — а его ладонь ложилась поверх моей, тёплая, шершавая, в муке. И каждый раз, когда он касался меня, я чувствовала, как внутри что-то отпускает, слой за слоем, как броню, которую носишь годами и уже забыла, что она на тебе.

28.

Холод поднимался от пола. Тонкий линолеум не спасал. Я сидела, подобрав ноги, в старом кресле, обитом колючей тканью, и боялась пошевелиться, потому что каждое движение казалось громким. Здесь всё казалось громким: дыхание, скрип половиц, даже то, как за окном падал снег.

Он сидел напротив, в таком же кресле. Между нами — стол, на нём — две кружки с чаем. Чай давно остыл. Я не заметила когда. Я вообще мало что замечала, кроме его рук. Он держал кружку, и я смотрела на его пальцы — длинные, худые, с обломанным ногтем на мизинце, — и думала о том, что у него, наверное, холодные руки. Потому что он такой. Сдержанный. Тихий. Как чай, который никто не пьёт.

В комнате было темно, только настольная лампа горела, и свет падал на его лицо неровно, оставляя половину в тени. Я смотрела на тень и думала: вот так и я. Половина здесь, с ним. Половина — где-то ещё. Где-то, где не страшно. Где не нужно подбирать слова. Где можно просто быть, а не казаться.

Он молчал. Я тоже. Молчание было густым, как сироп. Я чувствовала, как оно обволакивает, замедляет мысли, делает всё неважным. Неважно, что мы не говорим. Неважно, что чай остыл. Неважно, что завтра будет неловко. Сейчас — только свет. Только тени. Только его пальцы, сжимающие кружку. И я внутри этого молчания. Просто часть. Как свет. Как тени. Как он.

29.

Он встретил меня в застиранной футболке. Серая, ворот вытянулся, край подола обтрёпан. Я заметила это сразу.

Мой бывший менял рубашки дважды в день. Брюки отглаживал так, что по стрелкам можно было резать хлеб. Я долго думала, что так и надо. Что это и есть уважение — к себе, к женщине, к самому факту выхода из дома.

А теперь сижу напротив человека в растянутой футболке, и во мне что-то затихает. Как будто внутри перестали греметь посудой.

Он варил кофе в турке. На медленном огне, с сахаром, с какой-то особой серьёзностью, как будто это было главное дело дня. Кофе убежал, залил плиту. Он выругался шёпотом — чтобы я не слышала — и вытер тряпкой.

— Ничего, — сказал. — Так даже вкуснее.

Рассказывал про мать. Она живёт в деревне, держит коз. Одну зовут Ночка, потому что родилась ночью. В детстве он терпеть не мог козьего молока — до тошноты, до слёз. Прятался на сеновале, чтобы не пить. А теперь скучает. Приезжает раз в год, пьёт парное, прямо из ведра. Я слушала. Кофе отдавал горелым. Радиоприёмник всё шипел. За окном начинался дождь.

Он замолчал. Посмотрел на меня. Потом встал, открыл холодильник и достал банку сгущёнки. Поставил на стол, достал две ложки.

— Больше ничего нет, — сказал.

И мы ели сгущёнку прямо из банки, по очереди, пока не стемнело.

30.

Подруга сказала: «Он хороший, просто дай ему шанс». Я согласилась. Не потому, что поверила в его исключительную хорошесть, а потому, что устала отказывать. Отказывать — это тоже работа: нужно подбирать причины, следить за интонацией, чтобы не обидеть. Согласиться проще. Иногда пойти на свидание легче, чем сидеть дома и думать, что с тобой что-то не так.

В кафе вкусно пахло свежим кофе и чем-то ванильным. Он уже ждал за столиком у окна. Когда я подошла, он встал — резко, едва не задев локтем вазу с искусственным цветком, — отодвинул мой стул и спросил, что я буду. Всё правильно. Всё по этикету, словно он репетировал это перед зеркалом. А у меня внутри была пустота. Ровный, глухой вакуум. Как будто я смотрела скучный фильм, в котором играю главную роль, и играю плохо, но режиссёр куда-то ушел и некому крикнуть «стоп».

Он говорил про работу. Про то, как переехал из другого города, где были горы. Его голос звучал ровно и убаюкивающе. Я кивала. Улыбалась. Задавала вопросы, вставляя их в паузы. И всё это — на автомате, словно заведенная кукла. А внутри была тишина. Плотная, глухая, как вата в ушах.

Я смотрела на его лицо — обычное, приятное, с выбритым подбородком — и пыталась понять, почему я ничего не чувствую. Он же хороший. Он же старается. Он же не виноват. Он аккуратно резал свой стейк на ровные кусочки, промокал губы салфеткой и смотрел на меня с вежливым вниманием. А я сидела и думала: вот так, наверное, и выглядит одиночество вдвоём. Не когда ты один в пустой квартире. А когда ты с кем-то, но всё равно один. Когда между вами стол, чашки, салфетки — и больше ничего.

Когда принесли счёт, я расплатилась за себя. Он попытался спорить, потянулся к бумажке. Я сказала: «Не надо». Он замолчал. Мы вышли. На улице моросил мелкий, нудный дождь. Он предложил проводить, я отказалась. Он кивнул, спрятал руки в карманы. И от этого стало ещё хуже. Потому что он правда хороший. И я правда ничего не чувствую. И никто не виноват. Просто не совпало. Как два пазла из разных коробок. Вроде оба целые, ровные, без изъянов. А вместе не складываются. Хоть тресни.

31.

Она написала ему ровно в шесть утра, хотя они не были знакомы — просто переписывались неделю в приложении, и он не ждал от неё ничего, кроме вежливого «привет, как дела» раз в сутки, а тут вдруг целое сообщение, длинное, сбивчивое, без знаков препинания: «я не сплю всю ночь думала о тебе это странно потому что мы даже не виделись но мне кажется что я тебя знаю сто лет и если ты сейчас не ответишь я наверное умру».

Он прочитал это сообщение, лежа в кровати, и сначала ничего не понял, а потом почувствовал, как внутри что-то обрывается — какое-то странное узнавание, будто он ждал этих слов всю жизнь, хотя никогда не признался бы в этом даже себе, потому что он взрослый мужчина, ему тридцать два, и он давно перестал верить в такие вещи, как любовь с первого сообщения, но вот она написала, и он лежит и смотрит в потолок, и сердце колотится где-то в горле, как будто ему шестнадцать, и он снова верит, что можно просто написать человеку «я думаю о тебе» и не бояться, что тебя сочтут странным.

Он не ответил сразу, боялся сказать не то, спугнуть, сломать этот хрупкий мост, который она перекинула между ними одним сообщением, и он лежал и перечитывал её слова снова и снова, пока буквы не начали расплываться перед глазами, и вдруг поймал себя на том, что улыбается — глупо, широко, как дурак, — и понял, что всё, он пропал, ещё даже не увидев её, ещё даже не услышав голоса, просто от того, что кто-то не спал всю ночь и думал о нём, и не побоялся в этом признаться, и это было самое смелое и самое прекрасное, что с ним случалось за последние десять лет.

32.

Солнце вливалось в окно, как расплавленное золото, и ей приходилось закрывать лицо ладонью, чтобы не ослепнуть.

— Ничего не вижу, — смеялась она, откидываясь на спинку стула. — Ты как призрак, одно сплошное пятно.

Он не смеялся. Он смотрел на её пальцы, просвеченные оранжевым до прозрачности, на тонкие вены, на пылинки, которые танцевали в луче, как мошкара в последний час перед закатом. Десять лет назад такой же свет падал на деревянный стол на даче. Бабушка стелила выцветшую скатерть, ставила блюдо с пирогами, и казалось, что время остановилось. Тогда он думал, что так будет всегда. Теперь он знал, что всегда не бывает.

Она потянулась через стол к чашке с кофе. Её рука прошла сквозь луч, и на секунду он увидел, как свет ломается вокруг её запястья.

— Ты меня не слушаешь, — сказала она.

— Слушаю.

— О чём я говорила?

Он не знал. Он забыл. Всё, что было до этого момента, стало вдруг неважным. Осталось только это окно, этот свет, эта девушка, которая сейчас смотрела на него поверх чашки, и её глаза были темнее, чем обычно.

— Ты сказала, что я похож на призрак, — ответил он.

— И ты согласен?

— Иногда.

Она поставила чашку. Тонкий фарфор звякнул о блюдце, и этот звук показался ему оглушительным. Между ними было всего полметра стола, но эти полметра казались пропастью. Он чувствовал, как в груди нарастает что-то тяжёлое и горячее, чему он не знал названия.

— Нам пора, — сказала она, но не двинулась с места.

Он протянул руку и накрыл её ладонь своей. Её кожа была горячей от солнца. Она не отняла руку. Она просто смотрела на него, и в её глазах отражался этот проклятый, ослепительный закат.

— Ещё минуту, — сказал он.

И они замерли. Солнце медленно сползало за крыши, и тени на столе становились всё длиннее. Он держал её за руку, и это было единственное, что имело значение. Не планы. Не прошлое. Только это мгновение, которое сейчас закончится, чтобы никогда не повториться.

33.

В кинозале стояла абсолютная темнота, нарушаемая лишь мерцающим, почти стерильным светом экрана. В его синеватых отсветах её лицо казалось чужим, стёртым, словно на неудачном снимке. Днём её присутствие требовало немалых усилий. Она обладала редкой способностью спорить с каждым встречным, её голос заполнял любое пространство, а на любой вопрос находился готовый ответ.

Но сейчас она молчала. Просто сидела и смотрела на экран. В её молчании сквозила странная, ничем не прикрытая уязвимость. Мне стало не по себе, словно я случайно заглянул в комнату, куда вход строго воспрещён.

Я размышлял о том, что вся её дневная напористость могла оказаться лишь тяжёлым панцирем. Возможно, за этим громким голосом скрывался человек, который просто не знает, куда себя деть.

На экране сменялись кадры, музыка становилась громче, а я украдкой продолжал смотреть на неё. Меня охватил почти физический страх перед тем моментом, когда зажгут свет. Люстры вспыхнут, она зажмурится, и на её лицо вернётся привычное, чуть насмешливое выражение.

Этот хрупкий момент исчезнет. И я так и не узнаю, кем она является на самом деле. И это незнание вдруг стало для меня невыносимым.

34.

Ты спишь в кресле, напротив телевизора. Очки съехали на кончик носа, рот приоткрыт, и такой ты сейчас родной. Сгорбленный, седой, смешной даже. А я смотрю на тебя и вижу не это. Не морщины. Не седину. Я вижу того парня, к которому ехала через весь город.

Весна тогда была ранняя, но тёплая. Почки на тополях уже полопались, и воздух был липкий, сладкий, тревожный. Я стояла у окна в трамвае и видела своё отражение — молодое, румяное, взволнованное. И думала: господи, только бы он пришёл. Только бы не передумал. Только бы я не опоздала.

Ты ждал меня у кинотеатра. Пиджак с чужого плеча. Руки в карманах. Я вышла из трамвая и замерла. Ты меня ещё не видел. А я смотрела на тебя — такого серьёзного, такого взрослого, такого красивого — и чувствовала, как внутри всё сжимается в тугой узел. Не от страха. От невозможности. От того, что такой человек — и вдруг я. Мне. Ждёт.

Ты повернулся. Наши глаза встретились. И знаешь... я думала, что упаду. Ноги стали ватные, сердце бухнуло где-то в горле. А ты подошёл. Ничего не сказал. Просто взял за руку. Твои пальцы были тёплые, чуть шершавые. И весь мир — трамваи, люди, город — исчез. Остался только ты. Только я. Только это.

Пятьдесят лет прошло. Ты просыпаешься. Поднимаешь глаза. Смотришь на меня. И я снова вижу — тот взгляд. Ни капли не изменился. Как будто мне опять восемнадцать, и ты только что взял меня за руку, и всё ещё впереди. И правда — всё ещё впереди. Пока ты так смотришь.

35.

На ней было платье в горох. Я даже не знал, что такие ещё шьют. Думал, это реквизит, что-то из старых фильмов — лёгкое, с поясом, юбка колоколом. А она просто пришла. И я всё. Выключился.

Мы сели на веранде. Пахло чем-то сладким, летним, таким густым, что воздух можно было пить. Жасмин? Не знаю. Я не разбираюсь в цветах. Она поправляла лямку — та всё сползала с плеча, — и каждый раз, когда она поднимала руку, я терял нить разговора. Просто смотрел. На её ключицу. На то, как солнечный зайчик дрожит у неё на коже. На пальцы.

Она рассказывала про Анапу. Про лебедей-лодочки в парке. Что ей было уже не по возрасту, но она всё равно просила билет. Ей нравился скрип, с которым они качались на волнах. Я слушал и видел это море. Этих облезлых лебедей. Эту девочку, которая выросла, но так и не научилась вынимать из себя детство.

— Ты чего молчишь? — спросила она.

— Я не молчу. Я плыву.

Она засмеялась. Я — нет. Я на самом деле плыл. В этом платье. В этом липком летнем воздухе. В ней.

Потом мы шли по набережной. Она разулась, и я нёс её босоножки в руке. Она говорила, что асфальт тёплый, что в мае так бывает редко, что надо ловить момент. Я кивал. Я не ловил момент. Я ловил её. Её голос. Тень, которая ложилась на плиты и была раза в два длиннее меня самого.

У фонтана она встала. Повернулась. Посмотрела на меня. Вокруг орали дети, била вода, кто-то включил дурацкую музыку. А у меня внутри — вакуум. Полная, звенящая тишина.

Как будто всё, что я делал до этого — ел, спал, ходил на работу, — было просто разминкой. А вот это — начало. Первый настоящий вдох.

36.

Они сидели на лавочке у подъезда. Он курил, она просто сидела. Между ними лежала пачка сигарет, ключи от квартиры и старая зажигалка с выцветшей надписью «Сочи-78». Смеркалось. В окнах зажигался свет.

Она смотрела на его руки. На пальцы, которыми он держал сигарету. На то, как дым поднимается вверх и тает в ветвях. Она знала о нём почти ничего. Только имя. Только то, что он живёт в соседнем дворе. Только то, что он пришёл без цветов, но с этими ключами, которые положил между ними на выщербленное дерево, как будто они что-то значили. Как будто они открывали не только дверь.

Он затушил сигарету о край урны. Повернулся к ней.

— Я не умею ухаживать, — сказал он. — Не умею дарить цветы и говорить комплименты. Но я умею ждать. Долго. Терпеливо. Пока ты сама не решишь.

Она молчала. Смотрела на зажигалку. На «Сочи-78». Ей было сорок три, и она давно перестала верить в то, что кто-то умеет ждать. Все, кого она знала, хотели немедленно. Сразу в постель, сразу в отношения, сразу в будущее. А этот сидел и не торопил. От этого защипало в глазах. Она взяла его ключи. Подержала в ладони. Тёплые. Тяжёлые. Протянула обратно.

— Я не готова, — сказала она.

Он кивнул. Не обиделся. Не стал уговаривать. Просто взял ключи, убрал в карман.

— Хорошо, — сказал он. — Я подожду.

И остался сидеть. И она осталась. Вечер тянулся медленно, как патока. Тополиный пух летел в свете фонарей. Где-то далеко лаяла собака. Они сидели рядом, не касаясь друг друга, и смотрели, как в окнах напротив один за другим гаснет свет.

37.

Я надела платье, из которого давно выросла. Оно висело в шкафу с прошлого лета, когда я ещё верила, что всё образуется само собой. Тогда не образовалось. Сейчас я стояла перед зеркалом, одёргивала подол и думала, что, возможно, сегодняшний вечер что-то изменит.

У фонтана стоял мужчина с бумажной книгой. В двадцать первом веке, когда весь мир уткнулся в экраны, он держал в руках потрёпанный переплёт. Я хотела развернуться и уйти. От страха, что он окажется слишком умным, а я — слишком глупой. Или просто никакой.

Я подошла. Он поднял глаза. Улыбка была не дежурной, а какой-то ожидающей. Будто он ждал именно меня. Все мои страхи — платье, книга, глупая-не-глупая — растворились в этой улыбке. Осталась только я и этот вечер.

Мы шли по парку. Он рассказывал про старый детектив, найденный в букинистическом. Я слушала его голос и думала о том, что хочу быть книгой, о которой кто-то говорит с таким восторгом. Позже. Когда-нибудь. Может быть, с ним.

У моста мы остановились. Вода горела золотом в лучах заходящего солнца. Он повернулся ко мне.

— Я рад, что ты пришла, — сказал он.

— Я тоже, — ответила я.

38.

Март 2020-го. Мы сидели в последнем открытом баре на Патриарших. Город ещё не знал, что через несколько дней всё закроют. Он заказал просекко. Я сказала: «Какой праздник?» Он ответил: «Праздник, что мы встретились».

В воздухе уже висело что-то липкое. В новостях показывали людей в защитных костюмах, но мы всё ещё пили вино и делали вид, что все как обычно. Он рассказывал про бабушку, пережившую блокаду. Она говорила: «Самое страшное — когда не с кем разделить страх». Я слушала и чувствовала, как внутри нарастает паника. Не за себя. За него. За родителей. За всех.

Двадцать пятого марта президент объявил нерабочую неделю. Тридцатого Москва закрылась на самоизоляцию. Началось то самое «кино», в которое никто не хотел верить.

Мы не могли встретиться. Я стояла в очереди в супермаркет, намотав на лицо шарф, потому что купить маски было невозможно. Я без конца мыла руки и брызгала санитайзер. Кожа на них стала сухая и тонкая от спирта. Я боялась чихнуть даже в собственной квартире. И без конца гнала от себя мысли о том, как легко можно заразиться смертельным вирусом.

Он позвонил однажды вечером. Голос хриплый, температура подскочила до 38,5. Говорил, что чувствует себя так, будто «накрыло одеялом», и спа л по двадцать часов в сутки. Я слушала его дыхание в трубку и сходила с ума от бессилия. Я не могла приехать. Не могла даже прикоснуться. Потому что прикоснуться — значит рискнуть. Прикоснуться — значит возможно тоже заболеть.

Однажды он написал: «Когда всё это закончится, я приду к тебе. Пешком. Через весь город». Я прочитала и поняла, что это не романтический жест. Это было обещание выжить.

Ковид кончился. Не сразу. Мы встретились в том же баре. Он пришёл пешком. Через весь город. В старой джинсовке, с рюкзаком, исхудавший. Когда он вошёл, я просто шагнула к нему и уткнулась лицом в его шею. Слушала пульс и чувствовала, как отступает тот самый липкий страх, который держал меня за горло все эти месяцы. Мы стояли так посреди зала и просто дышали. Вместе. В унисон.

39.

Я не знаю, зачем я это сделал. Просто Женька сказала, что любит сирень. Мы шли мимо этого палисадника, и она обронила: «Сирень, какая красивая...» И всё. А я, как последний кретин, полез туда. Там же эта старуха с первого этажа и её пёс. Здоровенная тварь, которая лает так, что у меня до сих пор звенит в ушах.

Я выломал целую охапку. Тяжёлую, мокрую от росы. Пахло так, что кружилась голова. И тут этот кобель зашёлся лаем. Я рванул. Перемахнул через забор, оставив на гвоздях клок рубашки и кусок кожи с локтя. Бегу дворами, слышу за спиной топот и ор. Сердце в горле. В руке — сирень. Для неё.

На пустырь я приполз, задыхаясь. Рубашка в клочья, локоть в крови, в кулаке — жалкий веник. От всей охапки осталось три жалкие веточки. Женька стояла и смотрела на меня. Я на неё. И я вдруг понял, какой я дурак. Не мог купить в ларьке? Нет, нужно было через забор.

Она подошла. Забрала веник. Посмотрела на три ветки. Потом перевела взгляд на мой локоть.

— Ты в своем уме? — сказала она. — Тебя же эта псина порвать могла.

— Могла, — говорю. — Но не порвала.

— Дурак, — выдохнула она и вдруг ткнулась лбом мне в грудь. А потом подняла голову. Посмотрела на меня. И засмеялась. Я тоже засмеялся.

40.

Воздух входил в легкие с сухим, обжигающим треском. Я чувствовала, как он царапает горло, как стягивает кожу на скулах. Кончик носа онемел, превратился в чужой кусок плоти, а ресницы слиплись от инея. Дышать было больно.

— Посмотри, — сказал он.

Я подняла голову. Небо над нами разорвало в клочья. По черному бархату, раскинувшемуся над океаном, шли волны. Они перекатывались от горизонта к зениту — ядовито-зеленые, переходящие в фиолетовый, в синий, в какой-то цвет, который не имеет названия в человеческом языке. Оно пульсировало. Двигалось. Живое.

Мы стояли на краю земли. Дальше — только черная вода и льды, где бродили белые медведи, оставляя на снегу глубокие, как траншеи, следы. Рядом с ними наши человеческие следы выглядели смехотворно.

— У меня щеки сводит, — сказала я.

Голос прозвучал глухо, как будто ватой набило уши. Он не обернулся. Смотрел вверх.

— Еще минуту, — попросил он. — Просто постой еще минуту.

Я стояла. Снег скрипел под подошвами, выдавая наше присутствие. Мне казалось, что если я сделаю шаг, то провалюсь в эту бесконечность, упаду прямо в переливающееся небо. Мы попали сюда случайно, по какой-то дурацкой ошибке с билетами, и вот теперь торчали посреди арктической ночи.

Небо снова вспыхнуло, залило все вокруг мертвенным изумрудным светом. Он повернулся ко мне. В его глазах отражались эти зеленые всполохи.

— Надо идти, — сказал он. — Иначе мы тут околеем.

— Надо, — согласилась я.

Но мы не двинулись с места. Я смотрела на то, как иней оседает на его воротнике. Внутри было странное, тяжелое чувство: страх от того, насколько это огромно и безразлично к нам, и одновременно какая-то тупая, упрямая радость от того, что мы все-таки здесь.

41.

— Ты здесь?

— Здесь. Куда я денусь.

Он уже не открывает глаза. Уже не сжимает мою ладонь. Но я чувствую — он слышит. Он всегда меня слышал. Двадцать лет слышал. Даже когда я молчала. Даже когда я сама себя не слышала.

За окном больничный двор. Серый, мартовский, с грязным снегом. Я ненавижу этот двор. Я выучила его наизусть за последние недели. Каждую ветку. Каждую трещину на асфальте. Каждую машину, которая приезжает и уезжает.

— Помнишь, как мы поехали на море? — говорю я. — Первый раз. Вдвоём. У тебя ещё сгорели плечи, и ты спал на животе три ночи.

Он не отвечает. Но уголок его губ чуть дёргается. Я знаю — он помнит.

Я смотрю на его руки. Те самые, что держали меня, когда было страшно. Что чинили кран и лепили пельмени. Что гладили меня по голове, когда я плакала. Теперь они лежат поверх одеяла — худые, с синими венами, чужие. И всё равно родные.

— Я не уйду, — говорю я. — Слышишь? Я здесь. До конца.

Он вдруг открывает глаза. Смотрит на меня. И я вижу — тот самый взгляд. Как тогда. Двадцать лет назад. В парке, на лавочке. Как будто ничего не изменилось. Как будто он всё ещё тот парень, который забыл зонт и мок под дождём. Как будто мы только начинаем.

— Ты... — говорит он. Голос слабый, как шёпот.

— Что?

— Ты... самая... красивая.

Я зажмуриваюсь. Не хочу, чтобы он видел слёзы. Не сейчас.

— Ты всегда это говорил, — шепчу я. — Даже когда я была не красивая. Даже когда утром, с опухшим лицом.

— Это... правда.

Его пальцы чуть сжимают мои. В последний раз. Я чувствую это сжатие — лёгкое, как дуновение. И потом — тишина.

Я не отпускаю его руку. Долго. Очень долго. Пока не приходит медсестра. Пока за окном не темнеет. Пока я не понимаю, что теперь — всё.

Но когда я встаю и смотрю на него в последний раз, я вижу: он улыбается. Чуть-чуть. Самую малость. Как будто говорит мне: «Я здесь. Я всегда буду здесь. Пока ты помнишь».

42.

Он стоял на пороге, держа перед собой огромного плюшевого зайца. Длинные уши, пуговичные глаза, нелепый розовый нос. Он держал его так крепко, будто игрушка могла взорваться.

— Это тебе, — сказал он. — Я не знал, какие ты любишь цветы. И любишь ли вообще. А зайца помогла выбрать продавщица. Сказала, что этот самый мягкий.

Я взяла зайца. Он был мягким до неприличия.

— Спасибо. Он чудесный.

— Правда? — выдохнул он. — Я боялся, что ты подумаешь, что это по-детски.

— Это по-детски, — согласилась я. — Но я люблю по-детски. Проходи.

Мы прошли на кухню. Я поставила чайник, он сел за стол. Заяц занял почетное место между нами, уставившись в пространство своими черными глазами.

— У меня в детстве не было плюшевых игрушек, — сказал он вдруг. — Мама говорила, что это пылесборники.

— И поэтому ты теперь даришь их другим?

— Нет. Только тебе.

Я взяла чайник, чтобы разлить воду, и моя рука дрогнула. Кипяток плеснул через край прямо на стол.

— Черт! — я схватила салфетку.

— Ничего страшного, — он начал помогать вытирать лужу.

Мы вытерли воду. Заяц пережил потоп, разве что одно ухо стало выглядеть немного задумчивым. Мы пили чай. За окном темнело. Заяц сидел на столе, и его пуговичные глаза смотрели куда-то в сторону холодильника.

— Знаешь, — сказал он, глядя на игрушку, — он выглядит так, будто уже все про нас знает.

— И что он думает?

— Думает, что раз он тут самый пушистый, то теперь он в доме главный. И намекает, что в холодильнике давно пора завести морковку.

— У нас нет морковки.

— Вот именно. Он уже составляет план мести.

Он засмеялся. И я засмеялась. Мы сидели на кухне, пили чай. А заяц смотрел на нас своими пуговичными глазами, и казалось, что он действительно что-то замышляет.

43.

Он позвал меня запускать воздушного змея. Я сказала: «Ты серьёзно? Нам не по пятнадцать лет». Он сказал: «По пятнадцать. Мы просто притворяемся взрослыми». И я поехала. Потому что спорить с ним было бесполезно. Потому что он смотрел так, будто от этого змея зависело всё. Будто если я откажусь — мир не рухнет, но станет чуть серее.

Мы встретились в поле за городом. Он достал змея из рюкзака — старого, с потрёпанным хвостом, с нарисованными маркером глазами. Я спросила: «Где ты его взял?» Он сказал: «Это мой. С детства. Мы с папой его запускали». И я вдруг замолчала. Потому что поняла: он позвал меня не просто так. Он позвал меня в своё детство. В то место, куда пускают не всех.

Змей не хотел взлетать. Падал, путался в траве, цеплялся за кусты. Мы бегали по полю как дураки, смеялись, кричали друг другу: «Давай ещё! Ещё раз!» И в какой-то момент — поймали ветер. Змей дёрнулся, задрожал и пошёл вверх. Медленно, неуверенно, как будто тоже боялся. А потом — полетел. Высоко. Туда, где небо. Туда, где облака.

Он стоял и смотрел на него. И я смотрела. На змея. На небо. На него. На то, как он улыбается — змею, небу, папе, детству. И вдруг я поняла, что влюбилась.

44.

Дочь. У меня — дочь.

Я стою в палате и не могу дышать. В прямом смысле — грудь сдавило, горло перехватило. Я хватаю воздух, а он не идёт. Слишком много всего. Слишком много чувства. Оно не помещается. Оно распирает рёбра. Оно лезет наружу слезами, дрожью в коленях, глупой улыбкой, которую я не могу убрать.

Жена. Родная моя. Ты лежишь бледная, с чёрными кругами, с потрескавшимися губами. Ты устала так, как не уставала никогда. Но ты сияешь. Ты держишь наш свёрток и смотришь на меня — и в этом взгляде всё. Вся твоя боль. Вся твоя радость. Всё твоё «я сделала это». И я люблю тебя так сильно, что страшно. Я не знал, что можно любить ещё больше. Думал — куда больше-то? Оказывается, можно. Оказывается, любовь не имеет потолка. Она растёт. Ломает стены. Вышибает двери.

А потом ты протягиваешь мне её. Нашу дочь. И мир замирает. Звуки исчезают. Больница, коридоры, белый шум — всё пропадает. Остаётся только она. Тёплый комочек. Крошечные пальцы. Запах — нежный, молочный, ни на что не похожий. Я боюсь дышать, чтобы не спугнуть. Боюсь шевелиться. Боюсь, что мои руки слишком жёсткие, слишком грубые для неё.

Она открывает глаза. Смотрит. Прямо в меня. И я пропадаю. Исчезаю. Меня больше нет — есть только мы. Она и я. Моя дочь. Моя кровь. Моё продолжение. Я чувствую, как внутри поднимается что-то огромное. Что-то первобытное, животное, нечеловеческое. Я готов убить за неё. Готов умереть за неё. Готов разорвать этот мир на куски, если он её тронет. Я не знал, что способен на такое. Не знал, что во мне живёт этот зверь. Эта сила. Эта любовь — дикая, неконтролируемая, всепоглощающая.

По щекам текут слёзы. Я не стесняюсь. Пусть текут. Пусть все видят. У меня дочь. И это навсегда. Это самое главное. Это — я. Новый. Настоящий. Папа.

45.

Он заявил, что испечет торт. Честно говоря, я не поверила. Мужчина, который с трудом справляется с яичницей, в роли кондитера — это звучало как плохая шутка. Но он пришёл. С мукой, яйцами и формой для выпечки в виде сердца. Я открыла дверь, посмотрела на всё это великолепие и рассмеялась.

— Ты серьёзно?

— Абсолютно.

Полтора часа на моей кухне царил хаос. Он умудрился просыпать муку на пол. Тесто никак не хотело отлипать от рук, стола и всего с чем соприкасалось. Крем получился жидким, а корж треснул посередине. Мы собирали его по кускам, замазывали щели кремом и смеялись до слёз. Это был, пожалуй, самый уродливый торт в истории кулинарии.

Наконец он поставил его на стол. Перекошенный, в подтёках, с кривой надписью «Ты лучшая». Я замолчала. Взяла ложку, отломила кусок и попробовала. Было вкусно.

— Ну как? — спросил он, и я заметила, что у него на щеке белеет пятно муки.

— Съедобно, — ответила я.

Он выдохнул с таким видом, будто сдал экзамен. Мы ели этот кривой торт прямо из формы, сидя за кухонным столом, а за окном уже темнело.

46.

Река была горная — быстрая, холодная, с белыми бурунами на перекатах. Я сидел на носу, она — на корме. Мы гребли уже третий день. Плечи ныли, ладони стёрты, но внутри было хорошо. Так хорошо, как не было давно.

Вокруг — тайга. Настоящая. С кедрами до неба, с мхами, с туманом по утрам. Ни связи, ни интернета, ни новостей. Только мы. Шестеро. Три лодки. И река.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.